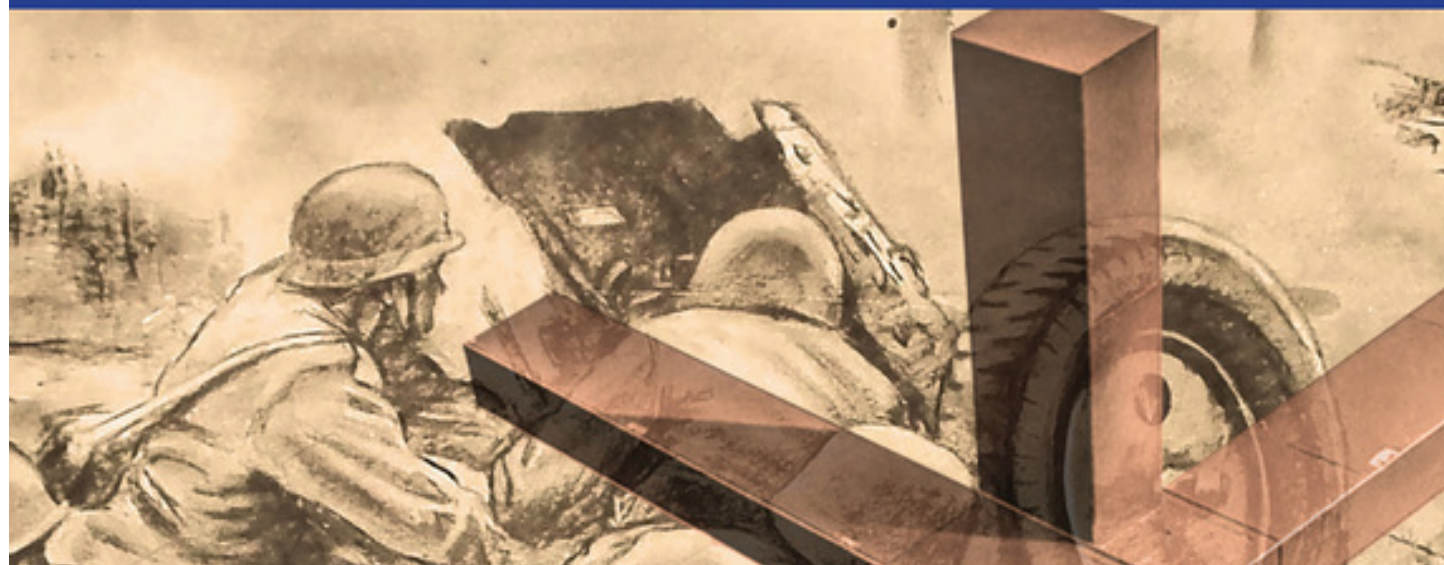


Константин Симонов

Дым отечества

ФТМ



Константин Симонов

Дым отечества

«ФТМ»

1946-1956

Симонов К. М.

Дым отечества / К. М. Симонов — «ФТМ», 1946-1956

«... Услышав сейчас эти тяжелые хозяйские шаги, Басаргин отчетливо вспомнил один старый разговор, который у него был с Григорием Фаддеичем еще в тридцать шестом году, когда его вместо аспирантуры послали на два года в Бурят-Монголию. – Не умеешь быть хозяином своей жизни, – с раздражением, смешанным с сочувствием, говорил тогда Григорий Фаддеич. – Что хотят, то с тобой и делают, как с пешкой. Не хозяин. Басаргину действительно тогда не хотелось ехать, но он подчинился долгу, поехал и два года провел в Бурят-Монголии. И всю дорогу туда, трясясь на верхней полке, думал, что, пожалуй, Григорий Фаддеич прав. А потом забыл об этом. А сейчас, когда вспомнил, уже твердо знал, что прав он, а не Григорий Фаддеич, и что именно он, Басаргин, был хозяином своей жизни. Был хозяином потому, что его жизнь в чем-то самом для него важном всегда шла так, как, по его взглядам, должна была идти. А главное – шла так, как ему хотелось, чтобы она шла, когда он думал о своих идеалах. А Григорий Фаддеич, о котором, поверхностно судя, легче всего было сказать, что он-то и есть хозяин своей жизни, ибо он все делает так, как ему хочется и как ему удобно в данную минуту, – не был хозяином своей жизни, потому что жил, не имея идеала, который повелевал бы ему делать то или другое или примирял его с той или другой трудной необходимостью. В сущности, он был не больше чем раб своих ежедневных страстей, привычек и желаний. ...»

© Симонов К. М., 1946-1956

© ФТМ, 1946-1956

Содержание

Глава первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Константин Михайлович Симонов

Дым отечества

Глава первая

Холодным мартовским утром тысяча девятьсот сорок седьмого года Петр Семенович Басаргин, отвоевав три года на войне и прослужив еще три года за границей, возвращался наконец домой, в отпуск.

Было одиннадцать утра. До Пухова – районного городка, примерно на полпути между Москвой и Смоленском, оставался еще час пути. Басаргин уже собрал вещи, закрыл на все замки чемодан, почистил щеткой костюм, пальто и шляпу и сейчас, стоя перед зеркалом в раскачивавшемся вагоне, еще раз причесывал мокрые волосы и внимательно рассматривал себя. В тусклом вагонном зеркале отражался человек лет тридцати пяти, хорошо одетый и чисто выбритый. Худощавое, замкнутое лицо выглядело особенно загорелым из-за пшеничных волос и светло-голубых, казалось, слегка выгоревших глаз; привычка щурить их порой придавала лицу насмешливое и даже дерзкое выражение. Была и еще одна подробность, нарушавшая первое впечатление от аккуратной внешности Басаргина, – это наперекор всему торчавший откуда-то сбоку жесткий вихор волос, с детства не поддававшийся ни прическам, ни стрижкам. Катя, жена Басаргина, не раз говорила, что этот заманчиво-восточный вихор и есть настоящая его душа, которую он неведомо зачем прячет от людей под своей привычной сдержанностью. Пожалуй, в этом была доля правды.

Вспомнив о Кате, он сильно и с огорчением потер пальцами тонкие темные полоски, шедшие у него от глаз к ушам, – след очков. Он уже второй год носил очки. Правда, он надевал их, только когда читал, но у него была привычка ежедневно и много читать, и полоски от очков становились все заметней.

Ему хотелось заново понравиться Кате, и это чувство все усиливалось у него по мере приближения к дому.

Закрыв глаза, он подумал о том, как он ее поцелует. И сейчас же вспомнил ее лицо таким, каким оно было в минуту их прощания, почти три года назад. Он помнил много разных ее лиц: недовольное, улыбающееся, печальное, озабоченное, умиленное; но это лицо в минуту прощания осталось для него навсегда самым любимым.

Они расстались в мае сорок четвертого года в Бессарабии, на аэродроме в Бельцах. Он привез ее с фронта на «виллисе». Оставалось два месяца до родов, но ее беременность все еще была почти незаметна, и она сердилась, что он отправляет ее в тыл слишком рано.

Всю дорогу, сидя на переднем сиденье, между ним и шофером, она молчала. Только на крутом повороте, когда их тряхнуло и он, примостившийся, чтобы не стеснить ее, на самом краешке сиденья, чуть не вылетел из машины, она, вскрикнув, крепко обхватила его шею обеими руками, но тотчас же отпустила и опять безучастно молчала до самого аэродрома.

На аэродроме целый час, оставшийся до отлета, она коротко и однообразно отвечала на его вопросы, ни разу не подняв упрямо опущенных глаз.

Уже пробовали моторы. Он отнес ее чемодан в самолет и вернулся, а она все с тем же безучастным выражением стояла у лесенки, опустив голову.

– Пора, – сказал бортмеханик.

Тогда она подняла голову и, закинув руки за плечи Басаргина, но не прижимаясь к нему, долго смотрела на него, с расстояния вытянутых рук, словно издали, запоминая его лицо.

А он тоже, покоренный ее взглядом, не пытаясь приблизить ее к себе, читал на ее лице такую печаль и боязнь разлуки, что ему хотелось опуститься на землю и, обняв колени жены, целовать их сквозь пыльную шинель.

На потемневшем от пыли Катином лице глаза казались особенно большими и неподвижными, похудевшую шею с маленьким шрамом от осколочного ранения обнимал ставший широким воротник гимнастерки...

Один из моторов дал полные обороты. У Кати выскочили шпильки, и ее темные волосы полетели вверх и так и остались в струе воздуха, летящие и в то же время остановившиеся на месте. Но она не обращала на них внимания и продолжала смотреть на Басаргина.

Таким он и запомнил ее лицо: печально сжатые губы с обветренными трещинками, неподвижные глаза и летящие волосы.

Пройдясь два раза по коридору вздрагивавшего на стыках вагона, Басаргин вернулся в купе и присел у окна.

Было холодно. Старый вагон насквозь продувало зимним ветром, и муж и жена, занимавшие две нижних полки, ворчали, что лучше бы они ехали жестким: там больше народу и поэтому теплее.

Басаргин смотрел через окно на однообразно летевшее навстречу белое поле и думал о своей жизни.

Жизнь эта началась здесь, на Смоленщине, тридцать четыре года назад, и сейчас, после всех скитаний, круговорот ее приводил его сюда же, на прежнее место.

Мать он не видел гораздо дольше, чем жену, – почти шесть лет.

Из писем было известно немного: что дом, в котором они жили в Смоленске, сгорел; что мать была у партизан, а теперь живет у Елены – старшей дочери – в Пухове и там же учителствует; что муж Елены, Григорий Фаддеич Кондратов, воевал, но в сорок третьем демобилизовался и сейчас, как и до войны, работает по строительству; что Шурка – младший брат – вернулся с фронта инвалидом без руки и учится в Смоленске, в том самом институте, где до войны преподавал Басаргин. Как почти в каждой семье, были невозвратимые потери. Погиб в московском ополчении младший брат матери, дядя Вася, и уже в самом конце войны был убит Анатолий – сын Григория Фаддеича от первого брака. Он служил в авиации, и ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Это было все, что знал Басаргин о судьбе своих родственников.

О Кате он знал немногим больше из десятка писем, в разное время полученных им в разных местах земного шара. Он знал, что она родила ему сына, живет теперь вместе с его матерью и работает хирургической сестрой в железнодорожной поликлинике. Письма Катя писала короткие и странные; они были похожи на лицо человека, сияющего не расплакаться.

Иногда Басаргину казалось, что они такие потому, что она слишком сильно любит и не может жить без него. Тогда он вспоминал ее лицо в минуту прощания и успокоенно думал, что ее письма похожи на это молчаливое лицо. Иногда же неизменные заключительные строчки каждого письма: «Будь здоров. Гриша и я крепко целуем тебя» – приводили его в бешенство и представлялись ему безнадежно высокой и длинной каменной стеной, которую он не может ни перелезть, ни обойти, чтобы узнать, что происходит за ней.

Уже скоро два года, как кончилась война, а он еще только возвращался домой. Неожиданные обстоятельства вторглись в судьбу Басаргина, изменив ее самым непредвиденным образом почти сразу же после отъезда Кати с фронта.

За полночь, когда он, маясь от духоты, лежал в траве, которая с буйной силой покрывала все – и старые воронки, и свежие вмятины от колес орудий, – раздался рев снижающегося самолета и вслед за этим оглушительный скрежет, такой, словно по гигантскому камню провели громадным железным скребком.

Американский бомбардировщик, совершавший челночный перелет из Италии в Полтаву, сделал вынужденную посадку на кукурузном поле, в полуверсте от позиций противотанкового артиллерийского дивизиона, которым командовал Басаргин.

С этого все и началось. Внезапно выяснилось, что Басаргин, первым приютивший летчиков, знает английский язык лучше всех в корпусе, и ему приказали отвезти американцев в штаб фронта. На первый случай дело тем и ограничилось, и сам Басаргин быстро забыл об этом маленьком происшествии. Но тем временем уже кто-то вспоминал об артиллерийском майоре, хорошо знавшем английский язык. Где-то за двести верст от него, в отделе кадров фронта, извлекалась из сейфа анкета: высшее законченное, Ленинградский политехнический, знание языков: английский – хорошо, французский – слабо. И взятая на заметку анкета откладывалась в сторону, и лист, на котором фамилия Басаргина была напечатана на машинке рядом с другими, уже заключался в коленкоровую папку с надписью: «На доклад». Резолюция синим карандашом: «Утверждаю», резолюция красным карандашом: «Согласен». Союзники высаживались в Марселе; мелкий и твердый канцелярский почерк бесповоротно бежал по бланку с маленькой красной звездой, выводя: «Откомандировывается в распоряжение комиссии по делам репатриации».

В сентябре 1944 года, за трое суток пролетев через Иран, Египет, Алжир и Средиземное море, майор Басаргин вечером четвертого дня вылез из самолета на большом травянистом аэродроме недалеко от Марселя.

У него слегка кружилась голова, больше от избытка впечатлений, чем от усталости. Было тепло и необыкновенно тихо – он услышал, как что-то, не то жук, не то пчела, прожужжало над головой и упало в траву. Синее небо стояло неподвижно и томительно, как на картинках, поднимаясь прямо вверх от самой земли. Басаргин снял фуражку и, перевернув, устало вытер клеенку носовым платком.

Его дивизион дрался сейчас где-то под Плоешти. Очевидно, так. Если вечером не было боя, то начальник штаба обычно в это время, в двадцать часов, садился за донесение. Впрочем, все это теперь не имело к Басаргину никакого касательства. Он еще раз вытер платком свою новенькую фуражку, пренебрежительно щелкнул по ее щеголевато блестящему козырьку и надел на голову. Старая, фронтовая жизнь кончилась. Начиналась новая, неожиданная и еще не совсем понятная, и кто знает, что ожидало его в этой жизни.

По аэродрому, ныряя, как бегущая в траве собака, ехала маленькая открытая машина. За рулем сидел офицер в советской форме, в такой же новенькой фуражке и с такими же золотыми погонами, как у Басаргина. Он правил одной рукой, а другой размахивал и что-то кричал Басаргину.

Таким и запомнилось начало новой жизни: ослепительно-синее небо, зелено-желтое выжженное поле аэродрома и прыгающая в траве маленькая черная машина...

В этих первых минутах на французском аэродроме не было ничего примечательного; они остались в памяти просто потому, что были первыми, и еще потому, что из всего клубка воспоминаний последних лет они торчали, как кончик нитки, с которого, чтобы не запутаться, следовало начинать разматывать все. Тысячи и тысячи километров были намотаны в этом клубке вкривь и вкось с грубой поспешностью военного времени. Белые дороги Франции, свинцовые шоссе Германии, черные каналы Голландии, зеленые, в белой пене, валы Атлантики и, наконец, разлинованные автострады Америки. Басаргину иногда начинало казаться, что его память стала шумным перекрестком, через который по всем этим дорогам, сталкиваясь и налетая друг на друга, неслись воспоминания.

Вскоре после окончания войны он был демобилизован, но поехал не домой, а в Вашингтон, в закупочную комиссию. Причин на это было несколько сразу: и действительное, а не только по анкете хорошее знание языка, и уже приобретенный опыт заграничной работы, и, главное, старая довоенная специальность. До войны он читал курс технологии металлов, и его

послали в Америку сменить уезжавшего оттуда работника, занимавшегося закупкой и приемкой проката и метизов.

Басаргин не принадлежал к числу тех очутившихся за границей людей, у которых инстинктивное неприятие всего окружающего превращалось в шоры, мешавшие им видеть и узнавать незнакомый мир.

Шорами прикрывают глаза лошади, чтобы она не пугалась незнакомого и чужого. Людей, добровольно надевавших шоры, Басаргин считал отчасти трусами, отчасти душевными лентяями. Безоговорочная похвальба всем своим и такое же безоговорочное осуждение всего чужого не были в глазах Басаргина свидетельством душевной силы, а, наоборот, казались ему признаком слабости этих людей. Им недоставало сознания своего духовного превосходства над чужим миром, обладая которым можно было, не роняя собственного достоинства, признавать, что американские автострады или кинематографы с охлажденным воздухом – отличные вещи, и жаль, что мы еще не имели возможности завести такие же у себя. Вспоминая родину, они хвалили все без исключения, поэтому им не верили. Впрочем, большею частью они предпочитали отмалчиваться и не ввязываться в споры.

Когда же они все-таки спорили, то спор слишком часто переходил в полухулиганское бахвальство русской баней, икрой, блинами и водкой.

Басаргина это неизменно приводило в ярость; и хотя сами эти люди вовсе не за это любили свою страну и знали о ней в сто раз больше того, что о ней говорили, но он, может быть, именно поэтому считал особенно унижительным их бессмысленное потакание чужим и бессмысленным представлениям о России.

Однажды после большого ноябрьского приема в посольстве Басаргин поссорился из-за этого с Николаевым, таким же, как он, демобилизованным майором, своим сослуживцем по закупочной комиссии.

Вернувшись к себе в общежитие, они полураздетые сидели друг против друга на кроватях и, механически продолжая раздеваться, яростно спорили.

– Нашел чем похвастаться, говоря о социалистическом государстве, – баней и блинами, – говорил Басаргин, со злостью расшнуровывая ботинки.

– А что же мне этому стальному королю, который не стесняется вспомнить, как он до войны к Гитлеру в гости ездил, – историю партии, что ли, ему рассказывать?

– Не знаю. Знаю только одно: всегда надо оставаться самим собой!

– Слушай, – стянув через голову рубашку, сказал Николаев, – а у него даже рожа добродушней стала, когда я ему насчет блинов вернул. Ей-богу!

– Ясно, добродушней! – Басаргин швырнул под кровать ботинки так далеко, что утром ему неминуемо предстояло ползать за ними на животе. – Ясно, добродушней! – повторил он. – Советский Союз с одними банями и блинами его не тревожит!

– Отстань! – сказал Николаев, залезая под одеяло.

– Не отстану!

– А какой смысл лишний раз красным платком махать перед таким быком, как этот Стенли? – лениво из-под одеяла отозвался Николаев.

– Знамя – не носовой платок, его по карманам не прячут!

– С тобой не сговоришься, – сказал Николаев после паузы и, подумав, добавил: – Трудно тебе тут с людьми разговаривать – тут дипломатия нужна, а ты не умеешь.

– Почему не умею? Умею, – сказал Басаргин, задетый за живое. – Но только я не считаю, что верх дипломатии – это пить водку в обнимку с кем придется.

– Ну что же, они это уважают.

– А я не хочу, чтобы меня уважали только за то, что я могу стаканами пить водку, а главное, чтобы меня считали дураком.

– Ну что же, иногда и это полезно.

– Нет, это всегда вредно. Извини меня, не мог на тебя сегодня вечером равнодушно смотреть. Ты весь вечер прикидывался дурачком и купчиком.

– А ты что же советуешь – откровенничать с кем попало?

– Я тебе ничего не советую. Я просто хочу, чтобы каждый, кто разговаривает с тобой или со мной, чувствовал, что я – человек из Советского Союза и что я горжусь у себя в России не баней и икрой, а кое-чем другим. Уж во всяком случае – в первую очередь!

Николаев ничего не ответил. Он молча лежал, глядя в потолок, и ожесточенно крутил двумя пальцами уголок воротника своей полосатой американской пижамы.

Басаргин подумал, что он обиделся, и, помолчав с минуту, окликнул его:

– Ваня!

Николаев молча потянулся, схватился сильными волосатыми руками за спинку кровати так, что она затрещала, и сел, опустив босые ноги на пол.

– К черту! – тихо сказал он. – Не могу больше. Домой хочу!

И такое мучительное нетерпение было в его словах, что Басаргин тоже невольно вскочил и сел на кровати.

– Два ходатайства подавал, – продолжал Николаев. – Не к жене, не на печку, – куда угодно: на Кушку, на Курильские острова, к черту в ступу! Только чтоб среди своих жить. И не нужно мне всех этих здешних грейпфрутов и яблочных пирогов, проживу и без них, пока не разбогатею, и работать буду хоть по двенадцати часов – только давай! И Америку эту даже не вспомню – бог с ней! Хочешь – верь, хочешь – нет.

– Почему ж не верить? Верю, – сказал Басаргин. – Но работа... неужели тебя совершенно не интересует заграничная работа?

– Вот ни настолько, вот на четверть пальца не интересует! И черт меня дернул когда-то английский язык учить! Не было бы этого чертова пункта в анкете – до конца войны бы воевал и дома уже был!

Николаев заснул или, может быть, сделал вид, что спит. А Басаргин долго еще лежал с открытыми глазами и смотрел в окно, из которого в эту лунную ночь был хорошо виден белый купол Капитолия.

Николаев был по-своему прав, посылая ходатайства. Ему и в самом деле лучше ехать домой.

Но вот он, Басаргин, жалеет ли он, что этот пункт, с английским языком, оказался в его анкете? Первое время ему порой до отчаяния ясным казалось: да, жалеет, очень жалеет, и никогда не перестанет жалеть! Он тосковал по всему сразу: по жене, по русским лицам, по русской природе, по русской печи. Его удручала неопределенность срока работы, то, что нельзя было даже отсчитывать оставшиеся до возвращения или хотя бы до отпуска дни.

Он с трудом привыкал к чуждой ему системе отношений между людьми, к разрозненности людских интересов, к слову «выгодно» вместо слова «нужно», к тому, что некому было сказать: «Давайте возьмемся, товарищи», и, наконец, к тому, что логика справедливости пасовала здесь перед логикой денег почти всякий раз, когда дело переходило от мелочей к чему-нибудь крупному.

Но еще трудней привыкал он к той двойной бухгалтерии в оценке потерь и страданий народов, в существование которой он не хотел верить, командуя своим противотанковым дивизионом.

В июне сорок пятого года, еще в Нюрнберге, сидя рядом с Басаргиным в баре и почти не стесняясь его присутствия, двое журналистов и офицер из английской разведки спорили о достоверности официально сообщенной русскими цифры потерь – семь миллионов убитых. Смысл их спора не оставлял сомнений: им хотелось, чтобы официальные сведения оказались преуменьшенными.

– Но если даже их данные точны, – в заключение сказал один из журналистов, – то семь миллионов тоже порядочно. – Он выговорил это с нескрываемым удовлетворением.

Басаргину хотелось ударить этого человека. Но это было бы как раз то, чего он не имел права делать. Однако и промолчать было свыше его сил. «Да и почему, собственно, надо молчать?» – подумал он и, повернувшись вместе с табуретом к своим соседям, побледнев, сказал, тщательно выговаривая английские слова:

– Вы сначала на два года позже, чем могли, открыли второй фронт, дождавшись того, чтобы мы успели потерять эти семь миллионов, а теперь пытаетесь свысока разговаривать с нами на мирных конференциях только потому, что мы потеряли в семь раз больше, чем вы. Ваша программа не удастся, можете быть уверены.

Наступило молчание. Потом английский офицер, почувствовав неловкость, примирительно сказал:

– Давайте лучше выпьем, майор! Заниматься всеми этими счетами – не наше с вами солдатское дело.

Басаргин отхлебнул глоток разбавленного водой виски, вихор на его голове запальчиво взъерошился.

– По-солдатски я бы поговорил с вашими солдатами, которые дрались и умирали в Дюнкерке. А с вами у нас, после того, что я слышал, какие уж тут солдатские разговоры! За здоровье ваших, оставшихся в живых соотечественников! В противоположность вам, я бы не хотел, чтобы солдатских могил оказалось больше, чем пишут в газетах. Нигде, в том числе и у вас! – Он большим глотком опорожнил свой стакан, встал и, поклонившись, пошел к выходу.

Это была только одна из многих встреч и один из многих разговоров. Они утомительно повторялись.

– Это правда, что у вас разрушено более тысячи городов?

– Да, это правда.

– Абсолютная правда? Без преувеличений?

– Да.

– Вам будет очень трудно самим все это восстановить.

– Да, нам будет очень трудно.

Собеседник – представитель фирмы, изготавливающей стальные цельнотянутые трубы. Фирма уже поставила первую партию труб для газопровода Саратов – Москва. Из-за спешности заказа за трубы было заплачено дороже, чем обычно. Представителю фирмы хочется спросить Басаргина: что этот заказ – случайность или система? Но деловой такт не позволяет ему задать такого вопроса, и он только, присвистнув, повторяет:

– Тысяча городов, это здорово много!

Басаргин видит его довольное лицо и вспоминает зимние развалины только что освобожденного Ростова, сквозные обледенелые коробки домов, пустую мертвую улицу и одинокого мужчину, бредущего с санками по мостовой. Мужчина налегает грудью на веревку, санки скользят и едут боком; на них стоит маленький детский гроб, сколоченный из двух фанерных ящичков. На фанере надпись: «Папиросы «Дукат». Ростов-на-Дону».

– Что вы замолчали? – спрашивает Басаргина его собеседник.

Басаргин смотрит ему в лицо и молчит.

И уже перед самым отъездом из Америки – на этот раз собеседником Басаргина оказывается видный журналист. Разговор заходит о хлебе.

– Говорят, что у вас в этом году небывалый неурожай. Что такого не было пятьдесят лет. Да?

Басаргин подтверждает.

– Я слышал, что у вас уже сократили нормы выдачи хлеба. Вам будет очень трудно с хлебом в этом году.

Басаргин следит за лицом собеседника. Тот с торжествующей бесцеремонностью продолжает развивать мысль о возможности голода в России и даже не дает себе труда выразить на лице сочувствие.

Басаргин встречается с этим журналистом уже не в первый раз и знает, что он не садист и не убийца, что он не ест детей и не убивает женщин; напротив, он, как говорится, вполне порядочный человек, участвовал в войне, был ранен и потерял на Филиппинах сына. Но ему доставляет удовольствие мысль о возможности голода в России. Ему кажется, что недостаток хлеба в России даст лишние аргументы для жестких разговоров с русскими.

– Вы согласны со мной, что ваше положение с хлебным балансом будет очень трудным? – заключает журналист.

– Да, но я не люблю, когда о страданиях моего народа говорят улыбаясь.

– Честное слово, вам это показалось.

– Нет, это вам показалось, что мы продадим социализм за чечевичную похлебку. А мы не продадим, мы им не торгуем, – в свою очередь через силу улыбаясь, говорит Басаргин.

Да, поистине, если вспомнить эти годы – они были жестоким воспитанием воли.

Некоторые не выдерживали. Одни, как Николаев, не стыдясь, просились домой; другие, стараясь не замечать никого и ничего, кроме своих, при всякой возможности запирались в четырех стенах и молча считали дни, оставшиеся до возвращения на родину.

В первое время Басаргин переболел и той и другой болезнью. Потом это прошло; в душе оставались и досада и горечь, но одновременно с ними рождалось веселое и злое сознание своей все возрастающей силы перед лицом этих трудных, а подчас и открыто враждебных обстоятельств. Он вошел во вкус повседневной работы, встреч, споров и – если его вызывали на это – прямой борьбы с людьми, искавшими выгодную для себя сторону в потерях и несчастьях его родины.

Он бывал счастлив всякий раз, когда при закупках ему удавалось выгадать лишнюю тысячу долларов. Он торговался, как маклак, свирепо и настойчиво до неприличия.

Случалось, что ему укоризненно говорили:

– У вас богатая страна.

– Да, – отвечал он, – но я скуп от природы, я люблю торговаться.

Он безбожно врал: он никогда в жизни не любил и не умел торговаться. Его личные покупки в Америке неизменно вызывали смех у товарищей. Шло ли дело о шляпе, сорочке или чемодане, он все покупал не так, не там и втридорога.

Но это было одно, а его работа – совсем другое. Закупая оборудование для советских заводов, он участвовал в борьбе за то, чтобы поскорей восстановить все разрушенное на его глазах войной и скорбно и ревниво сохраненное им в памяти артиллерийского офицера, прошедшего со своими пушками от границы до Терека и обратно. Каждая сэкономленная им тысяча долларов была его маленьким личным вкладом в эту борьбу. Он не думал ни о благодарности, ни о поощрении. Он не мог действовать иначе – он просто удовлетворял свою потребность бороться, воевал, как мог, и это придавало его служебным успехам оттенок личного счастья.

Последние воспоминания Басаргина были связаны с пароходом, на котором он пересек Атлантический океан.

Вдали еще мерцали последние огни Нью-Йорка. На широкой, грязной после погрузки палубе пассажиры переворачивали и опрокидывали чужие чемоданы и, наконец, найдя свои, молча расходились по каютам.

В ожидании, когда кончится эта суeta, Басаргин стоял у борта и курил папиросу.

– Рашен? – спросил его низенький, коренастый американский моряк, подойдя вплотную к нему и неопределенно указывая пальцем не то на самого Басаргина, не то на русскую папиросу, которую тот курил.

– Рашен, – ответил Басаргин, соображая, что вопрос относится, очевидно, к нему самому, а папироса была только признаком, по которому в нем узнали русского.

– Гуд! – сказал моряк и, расстегнув две верхние пуговицы своей рабочей куртки, запустил руку во внутренний карман.

Басаргин ждал, что будет дальше. Моряк, нагнув набок голову, все еще шарил в кармане. Голова у него была лысая, вся в мелких капельках пота, шея грубая, морщинистая и тоже потная. Наверное, это был кочегар или механик, только что выскочивший на воздух из своего машинного отделения.

Моряк между тем вытащил наконец из кармана старую черную записную книжку, открыл ее и, вынув оттуда маленькую засаленную карточку, молча сунул ее в руки Басаргину.

Басаргин надел очки и при мутном свете палубного фонаря с трудом разобрал русские буквы. Это была карточка мурманского донорского пункта. В ней было засвидетельствовано, что гражданин Пейдж Р.-Б. двадцатого сентября 1942 года сдал на пункте 400 граммов крови второй группой.

Моряк терпеливо ждал, пока Басаргин разберет полустершиеся буквы. Потом взял из его рук карточку и, глядя в глаза, деловито спросил:

– Ол райт?

– Ол райт, – ответил Басаргин.

Моряк вложил карточку в книжку, снова полез глубоко в карман, пристроил книжку на прежнее место, застегнул куртку и, протянув Басаргину руку, сказал:

– Бай.

– Бай.

Моряк быстро повернулся и исчез в узком корабельном коридоре.

Глядя на удалявшиеся огни Америки, Басаргин думал о том, что, встретиться ему этот моряк с донорской карточкой два года назад, он, наверное бы, очень растрогался и непременно, не один раз, восторженно рассказывал бы о нем. Он даже отчетливо представлял себе сейчас, что именно говорил бы он тогда:

– Америка? Американцы – прекрасные люди. Я, например, встретил одного американца...

Но сейчас, несмотря на трогательный поступок мистера Пейджа, Басаргин чувствовал в душе странный холодок. В последнее время он бесповоротно потерял способность умиляться. И, вспоминая моряка с карточкой донора, он теперь не сказал бы, что американцы – прекрасные люди; он скорее сказал бы, что они очень разные люди и, к сожалению, с такими, как этот Р.-Б. Пейдж, ему по характеру своей работы приходилось встречаться куда реже, чем он бы хотел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.